

Десятиминутная драма, Евгений Замятин

Трамвай № 4, с двумя желтыми глазами, несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы.

Действие открылось возгласом кондуктора:

- Благовещенская площадь, - по-новому площадь Труда!

Этот возглас был прологом к драме, в нем уже были налицо необходимые данные для трагического конфликта: с одной стороны - труд, с другой стороны - нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, явившегося деве Марии.

Кондуктор открыл дверь, и в вагон вошел очаровательный молодой человек с номером московских «Известий» в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно подтянул на коленях нежнейшие грипперлевые брюки и поправил на носу очки.

Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложеными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие - на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не давал звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить: не мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта.

И наконец он появился. Он вошел, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, не ощутимое землетрясение кольхало под его ногами, он покачивался. Покачиваясь, плыл перед ним чудесный мир: две розовые комсомолки, замечательный щенок...

- Тютька, тютька... Тютёчек ты мой!

Он нагнулся - погладить щенка, но невидимое землетрясение подкосило его, и он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив лакированного молодого человека.

- Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? - сказал он. - Им-мею полное право, да! Потому - вот они мозоли, вот, глядите!

Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно. И, очевидно, не случайно, волею судьбы и моей, они были посажены друг против друга: мой сосед в валенках и лакированный человек.

Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа – белые, красивые – от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком – и остановился, привлеченный блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков. Белые зубы моего соседа улыбались все шире, шире – и наконец в полном восторге, он воскликнул:

– О! Ну, до чего хорош! Штаны-то, штаны-то какие... красота! А очки... Очки-то, глядите, братцы мои! Ну, и хорош! Милый ты мой!

Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он затаил дыхание и нагнул оглобли своих очков над газетой.

Мастеровой, не отрываясь, глядел в его очки. Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нем совершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило – и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь.

– А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх! – вдруг сказал он, вставая. – Ты кто, а? Ты член капитала, вот ты кто, да! Будто газету читаешь, будто я тебе не шущест-вую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые шуществуют!

Газета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному – нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы.

Мастеровой подошел к молодому человеку, вынул руку из кармана...

Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза – чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор: он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и главы пассажиров. Он схватил мастерового за рукав:

– Гражданин, гражданин! Полегче! Тут не полагается!

– Ты... ты лучше не лезь! Не лезь, говорю! – угрожающе буркнул мастеровой.

Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился.

– Большой проспект... ныне проспект Пролетарской Победы! – пробормотал кондуктор, робко открывая дверь.

– Большой Проспект? Мне тут слезать надо. Ну, не-ет, я еще не слезу! Я останусь!

Мастеровой нагнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдет, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой.

Слышно было взволнованное, частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину с щенком, прижалась в угол. «Известия» трепетали на гриперлевых брюках.

- Ну-ка! Ты! Подними-ка личико! - сказал мастеровой. Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряженное в очки лицо, глаза его под стеклами замигали. Трамвай все еще стоял. У окаменевшего кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шаркнул огромными валенками и поднял руку над «членом капитала».

- Ну, - сказал он, - я слезу и, может, никогда тебя больше не увижу. А на прощанье - я тебя сейчас...

Кондуктор, затаив дыхание и предчувствуя развязку, протянул руку к звонку.

- Стой! Не смей! - крикнул мастеровой. - Дай кончить! Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь, - и закончил фразу:

- На прощанье... Красавчик ты мой - дай я тебя поцелую!

Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы - и вышел.

Секундная пауза - потом взрыв: трамвайная аудитория надрывалась от хохота, трамвай грохотал по рельсам все дальше - сквозь ветер, тьму, вдоль замерзшей Невы.

1929 год